

РАСКАЗЫ

КОЕ-ЧТО

1.

Он по-пингвиньи оттопырил руки, вспорхнул на низенькую шаткую ограду и даже сделал несколько продольных шагов — ему хотелось быть с ней юным сорванцом. Так он себя и чувствовал. Солнце затопило колодец двора, и сиренево-розовато-серые голуби, несмотря на громоздкость прилагательного, определяющего их цвет, легко скользили в пыльных лучах, то усаживаясь нотами на провода, то спускаясь к черепаховому люку, на котором с миром покоился внушительных размеров кусок черствого позеленевшего хлеба.

Она улыбалась. Или это закатное солнце со всем воздушным подводным искрящимся августом проникало внутрь нее и озаряло изнутри.

— А! — коротко с кнаклаутом выдохнул он, спрыгивая с опасно покосившейся от его спортивного азарта оградки на лысый участок усыхающего цветника. — Я хочу провести вас двором, где растет *то* дерево.

Они свернули в новый проулок, а выделенное голосом *то* так и осталось радостно раскачиваться воздушным шариком объединяющей их тайны.

Он взял ее за руку — слегка влажную, теплую, доверчивую — и, как написали бы в женском романе, «ощутил волну желания». Но он не читал женских романов, поэтому стал просто ласково перебирать ее пальчики, гладить ноготки. И когда сердце совсем уже бешено заколотилось, а они поравнялись с внезапной архитектурной пещерой, он остановился, развернул ее к себе, убрал налетевшие волосы с ее улыбающегося, чуть побледневшего лица и неловко нежно поцеловал. Приступ счастья остановил на память сердце, дыхание, звуки машин и листьев, летящих голубей и читающую на скамейке беременную женщину в алом палантине. Когда все снова было запущено, они оба повернулись к тому — тому самому — дереву и молча наблюдали его свет и трепет.

Это было тогда. Давно. А теперь он стоял в прихожей, сжав до белых пальцев телефонную трубку, и чувствовал, как внутри него опускается прозрачный лифт с только что услышанным. Ему хотелось положить трубку на тумбочку и отойти, но рука словно приклеилась к телу, и ноги не планировали сдвинуться с места, а, наоборот, пускали корни в темноту охватившего его оцепенения.

Надя Делаланд — кандидат филологических наук, преподавала в Южном федеральном университете, окончила докторантуру Санкт-Петербургского госуниверситета. Работает в отделе интеллектуальной прозы издательства «Эксмо» и арт-терапевтом в психиатрической клинике «Преображение». Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Новая юность», «Литературная учеба», «Вопросы литературы» и др. Стихи переведены на итальянский, испанский, немецкий, эстонский и армянский языки. Родилась в Ростове-на-Дону, живет в Москве.

2.

Она открыла большим неповоротливым ключом верхний замок, а вот нижний заперся, только если она надолго куда-то уезжала. Последний раз — год назад в горы (и еще в озера и немного в лес).

Маленький бесполезный ключик от нижнего замка жалобно звякнул, когда она положила всю связку красивым машинальным движением на ротонду.

В сумрачном зеркале прихожей маслянисто и дымчато скользнуло ее отражение. Она завернула на кухню, нажала на моментально покрасневшую клавишу электрического чайника и проплыла в комнату, снимая через голову тихо-салатное платье. Легкий золотой крестик из Иерусалима подался было вместе с платьем вверх, но потом ловко выскользнул и лег в блаженную грудную выемку.

В это время я как раз поднималась по лестнице, разговаривая с национализированной жителями подъезда кошкой Яшей. Яша семенила рядом, иногда немного меня обгоняя, потому что знала дорогу и нетерпение, и отвечала серьезным и искренним мямр на мои глупые сюсюкающие подначки. Кажется, я изумляла ее своим скудоумием, но в ней было довольно кротости и доброты, чтобы повторять мне одно и то же — одно и то же — на разные лады. Последний пролет мы миновали молча — между нами установилась та незамутненная ясность, которая случается между добрыми друзьями после рюмки-другой. Мы обе знали, что прелюдия к порезанной кубиками «Докторской» колбасе и крышечке молока исполнена, и со спокойной радостью входили в фугу.

3.

Когда он вышел из подъезда и остановился передохнуть, тяжелая входная дверь все еще медленно и страшно закрывалась. Он затылком чувствовал ее обратный зевок, отнимающий у него что-то важное. Дверь глухо цокнула.

Внезапно стемнело, и рухнул дождь. Они рассеянно топтались друг перед другом — дождь мелко выганцовывал шотландский народный танец, иногда против правил заступая за козырек подъезда, а он просто переминался с ноги на ногу, не решаясь ни вернуться домой, ни шагнуть под воду. Так мы их и оставим минут на десять, не меньше.

4.

Она же продолжала свой путь во вчерашнем дне, прислушиваясь к моему гулкому голосу на лестничной клетке и эху Яшиного припева. Ей казалось, что стены пропускают теперь не только звук, но сделались проницаемы для всякой вещи и больше не защищают.

Натянув домашнее трикотажное платье, она вернулась на кухню и плеснула закипевшей воды в кружку с утренним зеленым чаем. Весь этот год прошел так, словно бы время остановилось и внутри нее выключили свет. Воспоминания были ярче реальности, они смещали ее в область неважного, замещали собой.

Она пыталась сформулировать то, что с ней происходило, но не знала ни аналогов в своем опыте, ни слов в вокабуляре. Ее окружал Солярис внутри и снаружи, она погружалась в себя и тонула там. Было стыдно сходить с ума, хотелось прекратить это безобразие, но оно умело прекратиться только вместе с ней. Она вспомнила, до какой степени точно в романе Лема описана зависимость Хари от Криса, чей мозг по-

родил ее от океана. Когда надо крепко сжимать подлокотники кресла, чтобы не броситься вслед за любимым. Когда, кажется, прорвешь все металлические двери, только чтобы оказаться рядом.

Как так вышло с ней? Она не знала. Когда она увидела его, ничто ей не подсказало, что он для нее значит. Но он постепенно проступал внутри, пока не стало ясно, что он был там всегда. Просто раньше она не знала, как его зовут, а теперь знает.

Этому всему, превосходящему ее и ее понимание, оказалось совершенно невозможно сопротивляться. Вот есть ли у ворот гаража возможности противостоять нажиму электронного ключа? Они просто поднимаются, так они запрограммированы. Разве только сломать их...

Уже год она не виделась с ним. Было нельзя, невозможно. Он попросил ее об этом — не звонить, не писать. В воображении она выстроила много стройных и абсурдных теорий, объясняющих его внезапное решение порвать с ней, но все они по отдельности и скопом не помогали ей перестать думать о нем каждую секунду, он был постоянным фоном всего, что с ней происходило. Она столько всего перепробовала: и ходила на холотропное дыхание, и на всякие психологические практики, якобы позволяющие отпустить и справиться, и плакалась подружкам, исповедовалась и причащалась в храме. Иногда казалось, что прошло, помогло, рассосалось. Ан нет, и с новой силой все начиналось опять, делая ее беспомощной и незащитной.

5.

Яша вежливо доела последний кусочек, отсела в сторонку и принялась обстоятельно и где-то слегка остервенело умыться. Я всегда запускала ее в квартиру, чтобы она могла побыть здесь столько, сколько ей хочется, а потом выпускала. Но не разрешала себе считать ее своей — в моем возрасте уже нельзя позволить себе роскоши, чтобы кто-то зависел от тебя. К сожалению.

Вдруг Яша перестала тереть щеку и, не опуская лапы, удивилась левым ухом, а потом и правым, а потом сорвалась с места, бездонно заглянула мне в глаза, подбежала к двери, снова метнулась ко мне и снова к двери, уткнулась носом в предполагаемую щель и страшно зарычала.

Это было так неестественно, что мне понадобилось несколько секунд, чтобы немного прийти в рассудок, сделать пару нетвердых шагов, протянуть руку к замку. И в этот момент я услышала звук падающего предмета — что-то тяжелое рухнуло на пол в квартире над нами, я уже открывала, уже выходила... Яша выскочила, понеслась по лестнице вверх, и скоро я ее уже не видела, но когда, задыхаясь от космических перегрузок собственного веса, добрела до одиннадцатого этажа, нашла у двери Лиды. Лида, Лида, милая девочка, женщина, она всегда приветливо здоровалась и сразу же отводила взгляд. Пожалуй, мы говорили с ней толком всего раз за семнадцатилетний стаж сосуществования в одном доме. Год назад. Она уезжала куда-то отдыхать и попросила меня поливать цветы. Мы зашли к ней домой, она все показала, объяснила, а потом мы сели пить чай, и она неожиданно откровенно рассказала мне о том, что влюблена.

6.

Дождь понемногу слабел, забывался. Уже можно было выйти под него и, шатаясь от долгого ожидания, одолеть двор. Скрюченные длинные мысли волочились за ним по пыльному асфальту, подскакивая на неровностях. Иногда он заглядывал в их мерт-

вые лица, но сразу отворачивался, стараясь наполниться любой подробностью размываемого вертикальным пунктиром города.

В детстве ему сложно было поверить, что вообще возможно пройти обратно той же дорогой, что и туда. А тем более в разное время одной и той же. Было совершенно очевидно, что в считанные минуты, стоит только отвернуться, ландшафт полностью меняется: вырастают новые дома, старые радикально меняют цвет и пропорции, все дышит — растет и уменьшается. В этой оптической нестабильности приходилось полагаться на запахи, звуки и сложно осознаваемую способность помнить ногами. Было непонятно, как справляются с этим остальные. Допустить, что бывает иначе, в голову как-то не приходило. С возрастом это немного сгладилось, к тому же он научился придавать значение мелким приметам вроде свисающего со второго справа балкона куска желтого пластика. Пластик оказывался позже розовым, но угол, под которым он пытался упасть, все еще сохранялся и спасал. Но даже теперь иногда, когда он шел по улице и нечаянно оборачивался, ему казалось, что хитрые белки предметов запоздало отскакивают на прежние места, пойманные с поличным.

7.

Лида почувствовала страх и жар в солнечном сплетении. Она попыталась поменять позу, вздохнуть, но стало больно. Где-то в воображении возникла и поплыла к ней сияющая огненная планета, в которую нужно было просто шагнуть. Страх сменила радость. Не понимая, что происходит, Лида мысленно повторяла: «Ну наконец-то! Наконец-то!» Она встала навстречу приближающемуся шару, бросающему ей на лицо и грудь отблески, и ноги у нее подкосились. Падая, она смахнула со стола кружку с нежной пастуралью и особенно внимательно на прощание рассмотрела крошечные лепестки стилизованных ромашек и юную руку — о, уже отколовшейся девушки.

8.

Он пытался вспомнить вчерашний день, но не мог нащупать точку отсчета — хоть какое-нибудь событие. Нет. Провал. Он попробовал зайти с черного хода позавчерашней встречи с сыном — последнее, что он отчетливо помнил. Нет. Вчерашний день ускользал, выворачивался, его словно бы и не было. «Это старость, — привычно подумал он. — Это старость и смерть».

9.

Я позвонила в дверь, прислушалась, постучала. Где-то в глубине квартиры мне почудились движение и тихий стон. Ни на что не надеясь, я нажала на дверную ручку и потянула на себя. Дверь легко отворилась. Яша мышью прошмыгнула напрямик на кухню. Уже из прихожей было видно, что на полу в неестественной позе лежит Лида. Сняв со стены трубку радиотелефона и подходя к Лиде, я набрала номер «Скорой». Линия была занята. Поставив на автодозвон, я попыталась оценить ситуацию — Лида тяжело дышала и была без сознания, никаких видимых повреждений на ее теле я не заметила. Как оказать ей первую помощь, не представляла. Яша внимательно и сосредоточенно обнюхивала ножку стола. Было видно, что она совершенно перестала волноваться и просто осматривается на новом месте.

10.

Лида чувствовала, что кто-то вошел в квартиру, потом ощутила, как ее погрузили на носилки. Иногда ей удавалось приоткрыть глаза — совсем немного, но сквозь щелочки она видела, что ее спускают вниз, грузят в карету «скорой помощи», везут, видела, как покачивается капельница в такт поворотам и остановкам, как беспрерывно тошнотворно подрагивает в ней прозрачная жидкость. Звуки расходились гулким эхо, неуловимой и невнятной радугой, она вроде бы слышала слова, но не понимала их. Потом ее оставили в коридоре больницы, и она бесконечно долго лежала там на приятном сквозняке. Никто не обращал на нее внимания. Постепенно она почувствовала, что к ней возвращаются силы. Не открывая глаз, она приподнялась и села. Голова не кружилась, кажется, все совсем прошло. Лида открыла глаза и обнаружила себя в пустом больничном коридоре. Она встала, ощутив ступнями прохладный кафельный пол. Да, в самом деле, все было в порядке. Она прошла по коридору, надеясь увидеть кого-нибудь из персонала, но никого не встретила. Тогда она вышла на улицу. Подполковник в отставке, коротающий себя на вахте, прихлебывая одноразовый чай из жестяной кружки, мельком глянул на нее, но ничего не сказал. Вечерело. Лида была в своем домашнем салатном платье, вполне пригодном для того, чтобы пройти по улице, не обратив на себя внимания, но босиком. Наверное, было бы правильнее вернуться, дожидаться хоть кого-нибудь, но ей невыносимо захотелось уйти. Да и чего ждать? Чувствует она себя отлично. Про нее, скорее всего, забыли. Вообще, она старалась по возможности никогда не задерживаться в больницах. Она пошла по остывающему грубому асфальту, испытывая обновленное наслаждение от движения, от воздуха, от того, что все обошлось и она живая.

Лида поняла, что идет не домой, а к дереву — тому, у которого они стояли год назад. Ноги сами привели ее. Было уже совсем темно, но дерево немного светилось серебряной изнанкой листьев. Она села на искаленную лавочку рядом и стала просто смотреть.

Он подошел неслышно и присел на краешек лавочки. Она почти не удивилась. Некоторое время они сидели молча. У нее было столько вопросов к нему, что они погибли под своим весом.

— Почему ты босиком? — спросил он. Он говорил медленно и тихо, как будто преодолевая плотность среды. Так бывает во сне и под водой с движением. Убеденная совершенным им усилием в его доброй воле, она придвинулась к нему ближе. Все, что было нельзя, в одно мгновение сделалось можно.

— Я сбежала из больницы. Меня привезли туда по «скорой», никто не мог позаботиться обо всем, тем более о босоножках... Мы так давно не виделись. Почему?

Он наклонил голову, немного пожевал губами приготовленный ответ. Она знала, что он скажет, но это не было ответом на ее вопрос.

— Я быстро стареюсь, я старик...

Лида видела, что это так. Он действительно сильно сдал за этот год, но сделался еще симпатичнее. Она необыкновенно остро почувствовала, что никакие изменения, никакие открывшиеся факты не могут испортить ее отношения к нему. Они сидели рядом, и она слушала распускающуюся внутри тишину, ощущала открытость и защищенность. Только здесь ей и надо было находиться, не было никакого другого места на Земле, другого такого же правильного.

Она легко погладила его безответную руку в профиль и услышала:

— Я провожу тебя, уже поздно.

Они шли по темным улицам, держась за руки, как тогда, давно, никогда. Она не приглашала его словами, но было ясно, что они поднимутся к ней вместе. Надо было пойти к соседке, у которой был запасной ключ от ее квартиры. Лида нажала квадратную кнопку звонка и почти сразу услышала синкопу открывающегося замка. Старушка Анна Семеновна, которая жила под ней, открыла дверь и широко отступила. На ней были оранжевая майка с шестикрылой стрекозой, напоминающей витрувианского человека Леонардо да Винчи, и черные лосины.

— Лида, дорогая, — растерянно произнесла Анна Семеновна, — как ты? Как ты себя чувствуешь? — Она смотрела на Лиду заботливо и подчеркнуто не обращала внимания на ее спутника.

— Анна Семеновна, спасибо, все в порядке. Хорошо. Вот удрала из тюряги босиком, — Лида весело кивнула на свои ноги. Завтра позвоню им, что все нормально. Там не дождешься ж никого. Можно у вас мой ключ попросить, а то меня так увезли...

— Конечно-конечно, Лидочка, — Анна Семеновна засуетилась и принесла ключ. Вот. Я сама сегодня заперла дверь.

— Хорошо, Анна Семеновна, спасибо вам. Мы пойдем!

— Спокойной ночи, Лидочка.

Все это время он молча стоял рядом, а потом послушно, как тень, двинулся за ней на следующий этаж.

В квартире было темно, только из окна на кухне наивно и деловито светил уличный фонарь.

Вдруг какая-то вещь, забытая на стуле, заворочалась и мягко спрыгнула на пол. Лида улыбнулась.

— Это Яша! Ты здесь как?.. Яша-Яша, — позвала она другим специальным голосом. Открыла холодильник, достала оттуда вчерашнюю курицу, угостила кошку. Яша не побрезговала. Лида налила и поставила ей воду, повернулась к нему.

— Я бы тоже чего-нибудь съел.

Лида засмеялась и достала из холодильника сыр, абрикосы, пакет клюквенного морса и красное полусухое. На столе лежал немного подсохший лаваш, все пригодилось.

Потом они лежали в темноте на неразложенном диване, она чувствовала обнаженной кожей сухие крошки и посеянную три дня тому флешку под левой лопаткой, а всем телом — тесноту, но встать и перейти на кровать в спальню было слабо. Она прислушивалась к его дыханию, не специально подстраивалась, совпадала, соскальзывала в сон, но тут же выныривала и снова слушала, как он дышит. Было ли когда-нибудь по-другому? Всегда было так.

Острый приступ счастья перешел в хроничу, она улыбалась в темноте с закрытыми глазами и выглядела со стороны внутриутробным существом, плавающим в околоплодных водах ночного воздуха.

11.

Утром она тщетно пыталась дозвониться в больницу, из которой удрала. Но все равно, наверное, по-хорошему нужно было бы туда подъехать. Не завтракая, они собрались и вышли. Яша решила тоже прогуляться. Погода испортилась, было понятно, что сегодня будет гроза. У подъезда им снова встретилась Анна Семеновна. Они поздоровались, но Лиду на этот раз немного задело то, что соседка упорно игнорирует ее спутника.

— Яша сегодня ночевала у нас, — сказала Лида весело.

— Да-да, я не смогла ее выманить из квартиры, она затаилась где-то, — улыбнулась Анна Семеновна. — Видимо, решила, что надо охранять.

— О, у нее прекрасная сигнализация! Стоит только слегка до нее дотронуться. Тебе не мешало, как она мурлыкала? — спросила Лида у него, чтобы как-то ввести его в зону внимания.

Анна Семеновна глупо помаргивала. Она по-прежнему смотрела только на Лиду.

— Мне помогало, — сказал он.

Лида засмеялась.

— Колыбельная?

— Кошки ужасно уютные, — сказала Анна Семеновна. — Береги себя, Лидочка.

И она пошла к подъезду, сильно припадая на левую ногу.

Лида заглянула ему в грустные глаза.

— Иосиф, — сказала Лида, — Иосиф.

12.

Конечно, он любил ее. В таком возрасте все как-то иначе — острее, жалобнее, трагичнее. На грани исчезновения, в последний раз. Как падающий с обрыва хватается за выступ, он пытался этой нечаянной любовью удержаться внутри вечно продолжающейся и такой мимолетной жизни.

Она ему казалась ребенком. Нежная, полупрозрачная, хрупкая. У нее еще все было впереди. Он старик — а она... а у нее... Он видел, что она нравится другим мужчинам. «Только полный идиот может не захотеть вас», — повторял он ей. Грязный безумный старик. Да что говорить? Он стремился просто побыть еще — еще немного. И да, он не планировал, даже не мог предположить, что она так крепко втрескается. С ужасом представил вдруг, что все может затянуться и перейти в отношения, в которых он успеет так одряхлеть, что станет ей в тягость. Будет ловить ее взгляд, наполненный жалостью, а вдруг — и отвращением... Нет-нет, этого он точно не мог бы вынести. Зато он мог исчезнуть, пока до этого еще не дошло. Так будет лучше всем. И он исчез. Написал ей, чтобы она забыла, жила дальше, чтобы не искала его. Затаился в себе, перетерпел. Было тяжело, неприятно, но, впрочем, если разобраться, то вполне выносимо. А иногда и вовсе хорошо. Он выходил на балкон, жмурился от утреннего солнца, вдыхал прохладный воздух, выкуривал первую сигарету. Затем одевался и отправлялся в маленькое кафе, где милая пышногрудая барышня в очаровательных веснушках с опущенными ресницами подавала ему кофе и теплый круассан. Вытирая со стола, она как бы невзначай задевала его рукавом, наклоняясь за чашкой, рыжим локоном касалась плеча, восхитительно краснела, и жизнь снова наполнялась смыслом, расцветала и обещала. Всем своим существом он приветствовал простые радости. Поэтому некоторое время спустя он пригласил барышню на ужин, она осталась у него и вполне оправдала ожидания, он был доволен, но сразу же утратил интерес к этому кафе и перебрался в небольшую пекарню с тремя стеклянными столиками и божественным яблочным штруделем.

Когда ему сообщили, что Лида попала в больницу, лежит без сознания, может умереть, он собирался в гости к своему старинному другу. Все кубарем вспомнилось и ошеломило силой и свежестью. Ему казалось, что это давно не так живо, забылось, поросло, сгинуло. Он долго стоял потрясенный не только новостью, но и своей реакцией.

13.

По дороге в больницу Лида и Иосиф завернули в какую-то забегаловку, оказавшуюся вполне уютной. Лида то щебетала, не сводя с него восхищенных глаз, то замолкала и задумывалась, расфокусировав зрачки и уставившись на растопыренные

в центре столика салфетки. Они заказали два кофе и сырники со сметаной и свежей малиной. Официант почему-то поставил заказ Иосифа не ему, а кому-то третьему, не сидящему напротив. Лида изумилась, одарила смуглого юношу испепеляющим взглядом и мгновенно сама переставила все как следует. Ей не хотелось отвлекаться от беседы.

— А-а-а, я поняла, — радостно вздохнула говорила она, — ты испугался, что со мной ты потеряешь всех своих многочисленных любовниц. Но это не так — мы могли бы с тобой мирно дружить и не расставаться, а ты бы продолжал общение с ненасытной толпой.

— Да нет же, ты слишком хорошо обо мне думаешь... толпой... я не смог бы перетрахать такое количество.

— Ну... постепенно, не сразу... Глаза бояться, как говорится, а руки делают...

— А, ну руками мог бы, да.

Лида хохотала, Иосиф улыбался. Вдруг она погрустнела.

— Как ты мог так долго быть без меня? Ты меня не любишь? Ты совсем не скучал? Тебе не было меня жалко? — ее голос стал прозрачным от слез.

— Все не так. Просто я уже старый, мне семьдесят лет, — он долго и внимательно смотрел на нее, — просто меня уже нет.

— Гёте в восемьдесят сватался к Урсуле, и ничего...

— Все по-разному чувствуют себя... — он опустил глаза.

— Ты не любишь меня и не хочешь, — с детской прямоотой констатировала она. — Я расплачусь, мне надо разменять деньги.

Она подозвала официанта и попросила их рассчитать.

Лида вышла первой, ее волосы торжественно и победоносно развевались. Она не верила в то, что говорила.

14.

Когда Лиду забрала «скорая», я подумала, что надо сообщить ее родным или друзьям. На кухонном столе лежал ее сотовый, я внимательно изучила список контактов, это были имена и фамилии с пометками, не наводившими ни на какие мысли о родстве или близости. Только один контакт был помечен звездочкой избранного. Я даже помнила это имя, оно звучало на том нашем единственном чаепитии. В контакте было два номера, я выбрала домашний и с домашнего же, не откладывая, набрала.

После второго гудка ответил пожилой спокойный голос.

— Здравствуйте, Иосиф, — сказала я, — это вас беспокоит соседка Лиды Анна Семеновна. Лиду только что по «скорой» забрали в больницу. Мне показалось правильным сообщить вам об этом.

— Господи... что случилось?

— Боюсь, что все довольно серьезно, она была без сознания, и врач сказала, что хорошо бы ее вообще довести...

— А в какую больницу? Хотя что я — тут одна... В какое отделение?

Голос был взволнованный.

Я не знала, в какое отделение.

— Думаю, там на месте определяют. Возможно, в реанимацию. Вы не знаете, кому можно еще позвонить — родители, подруги?

— Нет, я не знаю. Спасибо!

— Да не за что.

В трубке послышались нервные гудки. Я еще раз придирчиво перечитала список, начиная с «аварийной службы» и заканчивая «я СПб», никем не прельстилась и оста-

вила телефон там, где и взяла. Надо было выпустить Яшу, она забилась куда-то наверх, когда приехала «скорая». Сначала я просто звала ее, обещая много вкусного. Потом, взгромоздившись на табуретку, я попыталась пошуровать там, но чуть не свалилась. Нет, и себе вызывать «скорую» мне сегодня уже не особенно хотелось. Ладно, в конце концов, пусть посидит здесь, завтра я ее выпущу, когда приду поливать цветы.

15.

Когда они пришли в больницу, их там долго мурыжили, посылали в разные кабинеты, но потом все-таки приняли Лиду, осмотрели, написали какое-то заключение и отправили с богом.

— Покажи-ка, — протянул Иосиф руку, — что там тебе написали.

Он бережно взял вдвое сложенный листок и пробежал глазами. Аккуратно свернул его и вернул Лиде.

— Иосиф, — сказала Лида, — можно я попрошу тебя о чем-то? Это очень важно для меня, а для тебя совсем не имеет никакого значения.

— Можно.

— Я помню, что ты хотел бы, чтобы после смерти ничего не было, но если там все-таки что-нибудь будет, постарайся подождать там меня.

— Ладно.

16.

Вернувшись домой, я обнаружила, что дверь бросила открытой — не настежь, а так, похлопывающей с небольшой амплитудой и ритмическими перебойми. К старости я совсем перестала бояться, что кто-то может меня ограбить. Нет, когда я уходила, то по привычке запирала дверь, но могла бы и не делать этого. Во-первых, если бы кому-то внезапно пригодились что-то из моих вещей, меня бы это только порадовало. Во-вторых, во мне крепло ясное осознание того, что ничего просто так не происходит. Осознание это было получено опытным путем на протяжении собственной уже практически прожитой жизни. И хотя со стороны у малознакомых людей и случались события, выглядящие кощунственно и несправедливо, моя собственная жизнь и жизни тех, кого я знала близко, являли собой пример замысла и воплощения либо какого-то тотального неповиновения законам физики.

После смерти мужа я переехала в наш маленький городок и жила по внутреннему распорядку. Просыпалась рано, как будто что-то ударило меня в грудь. Читала утренние молитвы и две главы из Евангелия, съедала кусочек подсушенной просфоры и запивала глотком святой воды. Потом садилась работать. Часам к одиннадцати меня начинало клонить в сон, и я ложилась. Часа через два просыпалась снова, завтракала в обед и совершала всякие хозяйственные подвиги вроде уборки, мытья посуды, разглаживания горы белья, которая не переводилась, потому что стирала я часто. Вечером гуляла и снова садилась работать. Много и с удовольствием ела перед сном, потому что разрешила себе толстеть. И толстела.

17.

Иосиф сгорбившись сидел рядом с кушеткой, на которой лежала Лида. Она была подключена к каким-то приборам и капельницам, ее маленькое тело обвивали прозрачные трубочки и проводки. На экране что-то вспыхивало и гасло. Он смотрел на подрагивающие ресницы, на слепо перемещающиеся под веками глазные яблоки

и пытался представить, что она сейчас видит. А она в это время усадила его на лавочку в парке, потому что видела, что он устал. Ей не нравилось, что он побледнел, она то и дело пробовала рукой и губами его лоб, но лоб был хороший, тогда она начинала щекотно перебирать тонкими пальцами у основания кисти в поисках пульса, считала, сбивалась, начинала заново. Он покорно терпел.

Рядом прошли бабушка с толстым внуком. Мальчик пялился на Лиду, а потом громко сказал бабушке:

— Смотри, баба, тетя целует лавочку.

Иосиф становился все бледнее и бледнее.

— Господи! — воскликнула Лида громко, — да помогите же хоть кто-нибудь, не видите — человеку плохо!

К ней подбежала девушка, стала расспрашивать, что с ней, доставать телефон.

— Да не мне же — ему! — закричала в отчаянии Лида, показывая на Иосифа, которому на глазах делалось хуже, он совершенно обмяк и еле-еле с огромным усилием мог приоткрывать глаза.

— Лида, не надо, — сказал Иосиф. Левая сторона рта у него почти не двигалась. — Перестань, меня уже нет. Разве ты не понимаешь этого?

— Надо вызвать «скорую», — плакала Лида, — ну что же вы стоите, вызывайте, он умирает!

Лида попыталась выхватить у замешкавшейся девушки телефон, но та вовремя сообразила, что к чему, и стремительно удалилась. Лида стала рыться у себя в сумочке, но у нее так тряслись руки, что она ничего не могла разобрать, вытаскивала и снова засовывала обратно ненужные сейчас предметы, потом стала просто выбрасывать их рядом с собой на землю. Телефона не было. Она плакала, понимая, что теряет драгоценное время, что никто не может помочь ей, что Иосиф умирает. А в это время Иосиф взял лежащую без сознания Лиду за руку, положил голову на свою руку, в которой лежала ее рука, и замер. Если бы кто-то сейчас выглянул из-под кровати и посмотрел на него, то увидел бы, что глаза у него открыты, а изо рта течет слюна. Лида посмотрела на него — он сидел, сильно покосившись влево, приоткрывая свежую надпись, нацарапанную на спинке скамейки. Можно было прекращать поиск телефона. Она медленно опустилась рядом с ним. Сил больше не было. Машинально она достала из сумки листок, сложенный вдвое. Долго не могла понять, что это за листок. Наконец сосредоточилась и прочла о том, что у нее констатировали смерть. Все поплыло у нее перед глазами. Противный писк заглушил все остальные звуки. Она закрыла глаза и на какое-то время отключилась.

18.

Когда она открыла глаза, то увидела белый ровный потолок и солнечные блики, шушукающиеся о чем-то детском. В комнате было прохладно, она поежилась и поняла, что обнажена, нашарила рукой и натянула на себя простынку. Повернула голову — у окна стоял Иосиф, он курил. За окном в сине-зеленом захлебывались чириканьем и свистом. Легкие белые занавески, выдыхаемые проточным сквозняком, были то парусами, то крыльями.

— Где мы? — шепотом спросила Лида.

Иосиф повернулся. Он был совсем молодым. Она никогда не видела его таким, но сразу узнала. Как будто монетка звякнула о дно колодца.

— Мы дома и сейчас идем гулять, — объявил он. — Но сначала... — Иосиф подошел и лег рядом, — сначала я должен кое-что сделать.

ЗЕРКАЛО

Когда я, шелестя и похрустывая, сдернула с зеркала вощеную бумагу и водрузила его в ванной на месте прежнего, треснувшего около месяца назад и лежащего теперь на помойке, я сразу почувствовала разительную перемену. Зеркала, конечно, все немного разные: одни слегка вытягивают отражение, другие сплющивают, одни отражают четко, другие более размыто, одни светлее — другие темнее... Но это зеркало пронзило меня какой-то особой, я бы даже сказала — посмертной, ясностью. Оно как будто собирало и доносило своим отражением каждую мелочь, оно было реальней отражаемой им реальности. Глядя в это зеркало, я вдруг нашла свою потерянную самую удобную на свете заколку для волос, на которую давно уже плюнула. В общем, вопреки примете, мое старое зеркало вышло из строя, не принесло мне особых несчастий, напротив, даже вот обрадовало совершенством зеркала, приобретенного ему взамен.

Сегодня я пришла домой почти в полночь. Был ужасный день — на работе завал, совпадения какие-то дурацкие, домой шла, завернула в магазин, не заметила стеклянную дверь и в кровь расшибла нос... Да, это было даже смешно, а в довершение всего мой давнишний, с самых тех, еще университетских, времен, приятель предложил мне выйти за него замуж. Полный бред, мы знакомы почти сорок лет. К чему портить дружбу двум добрым старым хрычам, не понимаю. В общем, не день, а хрен знает что. Слава богу, он закончился! Жаль только, что при моей затворнической жизни мне даже некому было пересказать все его нелепые дикие перипетии. Да и спать хотелось невыносимо. Умывшись (расквашенный нос заложило, и дотрагиваться до него было больно), я отняла руки от лица и почувствовала, что ослепла. На секунду. Это не успело стать мыслью, я быстро поняла, что просто эти идиоты опять отключили электричество. Целую неделю одно и то же! Или это все-таки перегорела лампочка? Нащупывая в темноте влажной рукой ускользающую железную щеколду и открывая дверь, я подумала о том, что внезапная слепота — это такой лейтмотив моих кошмаров. Помню, мне снилось даже, что я пришла в ванную умываться, вытащила, значит, глаза и, ничтоже сумняшеся, сожрала их. Или надкусила просто, не помню, врать не буду. Но факт, что пользоваться по назначению стало ими уже затруднительно. Я пришла в ужас, осознав во сне, как меня подставила внезапно напавшая на меня прозорливость, и, не приходя в себя, проснулась. Вспоминая всю эту историю и уже практически раскрыв дверь, я задним числом сообразила, что зеркало немного светится. Я закрыла дверь. Зеркало тихо светилось. Этого света было недостаточно, чтобы что-то освещать, но само оно определенно светилось. Едва заметно, утробно, внутренним светом.

Свет исходил из краев зеркала, как это бывает, когда за плотно закрытой дверью находится освещенная комната и ее свет протекает в щели. Я провела по рамке растерянным пальцем — она была неожиданно теплой и слегка дышала. Кроме того, я почувствовала робкий сквознячок, дующий отсюда туда.

Немного выждав, чтобы привыкнуть к происходящему, я прикоснулась пальцем уже к самой зеркальной поверхности — он моментально был втянут темной теплой водой зеркала, как воронкой, в которую утекает вода из ванны. Без усилия я вернула палец обратно, он был сухой и несколько секунд слегка светился, зараженный свечением зеркала. По всей вероятности, в зеркале не водились бешеные волки. Я просунула в него кисть руки, руку по локоть, затем по плечо. Глупо хмурясь, я пошевелила ей и поразмахивала, чувствуя кожей тепло и движение воздуха, как если бы за зеркалом светило солнце и перебирал свежие листья весенний ветер. Немного поколебав-

шись, я вернула себе руку — зеркало отпустило ее с легкой неохотой. Приблизив к зеркалу лицо, я стала различать слабые звуки, а в мой страдальческий носовой резонатор чудом просочился смешанный запах каких-то цветов и ягод. Зажмурившись, я всем лицом окунулась в зеркало, пустив по коже расходящиеся круги дрожащей теплоты и упругости. В ту же секунду я задохнулась от свежего воздуха, и яркий свет сделал мои веки полупрозрачными красными витражами.

Когда я наконец решилась открыть глаза, то увидела, что моя голова оказалась в комнате, которая была освещена непрямыми солнечными лучами, рассыпавшимися из распахнутого окна. Окно то на вдохе испуганно втягивало в рот белую тонкую ткань занавески, то выдувало из нее бубльгумовский пузырь. Мебели было немного, и вся она была из того же светлого дерева, что стены, пол и потолок. На столе стояла тенистая ваза с желтыми листьями, веточками вербы и яркой рябиной. Одна из стен была полностью обнесена книжными полками. Самого беглого взгляда было достаточно, чтобы я узнала их все — это были мои книги, те произведения тех авторов, вышедшие в тех изданиях, что я когда-либо читала.

Наверное, моя голова на стене выглядела таким безрогим охотничьим трофеем. Стараясь держать его как можно устойчивей в этом солнечном мире, в мире потухшей лампочки я с изрядным усилием подтянулась на руках, которые не смущала царащая в ванной тьма, встала ногами в скользкую раковину и всем моллюском вылезла из зеркала. То есть, конечно, залезла, но в итоге все равно — вылезла. Наступив влажными домашними тапочками на прочную тумбочку, которая стояла специально под двероподобным зеркалом, я легко соскочила на пол и осмотрелась. Мне нравилась тотальность восприятия, вдруг открывшаяся во мне. Я стояла посреди комнаты, и все происходящее принадлежало мне, было мной. То ли все предметы обладали здесь какими-то особенно чистыми цветами и линиями, то ли качество моего зрения стало иным от этой перемены мира, но я видела очень четко каждую мелочь, каждая мелочь была важна.

Я обошла комнату по периметру, двигаться было легко, как будто я долгое время ходила с двухкилограммовыми гириями, навешенными к рукам и ногам, а теперь их сняли. Нос, кстати, тоже перестал болеть. Из окна был виден осенний разноцветный лес. Я легла животом на подоконник и свесилась вниз головой — до земли было метра четыре, значит, в доме должен быть еще первый этаж. Выйдя из комнаты, я вприпрыжку спустилась по неширокой заворачивающейся лестнице, намертво задавив в себе внезапное желание съехать вниз по перилам. Здесь было что-то вроде столовой: в центре стоял стол, окруженный послушными стульями, у стены добродушный посудный шкаф, у стены напротив — оранжевый диван. Плотные шторы, посуда в шкафу, абажур — все было такого же веселого оранжевого цвета. В углу из громадного пупырчатого оранжевого горшка росла пихта. Я подошла к ней и проверила землю — влажная. Открыла буфет и сразу разглядела баночку с мандариновым вареньем. Такое получается, когда длинно и тонко нарезают кожуру, а потом варят недолго вместе с соком, мякотью и сахаром.

Когда я вышла из дома, то оказалась на пляже — под ногами песок, впереди бескрайние морские просторы, солнцек, соленый гладкий воздух, справа по курсу оазис с яркими тропическими цветами и чудачковатыми деревьями. Бесшумно припадая на оба крыла, мимо меня провздыхала большая желто-фиолетовая бабочка. Я сделала несколько шагов, набрав полные тапки обжигающего песка, остановилась и стала вытряхивать его, зажигательно поднимая ноги и аплодируя себе подошвами по пяткам. Солнце светило яростно, с полуденным максимализмом. Так и обгореть недолго. Все-таки тут, выходит, лето... Хотя это странно, потому что из комнаты мне почудилось,

что стоит осень. Я решила выйти к тому лесу, который заприметила из окна, повернула за угол и моментально оказалась в другом времени года. Да, здесь была осень, все, как должно быть осенью: температура воздуха, запахи, цвета. Ошеломительный покой падающих листьев. Я завернула за следующий угол, и у меня перехватило дыхание от холода. С этой стороны была зима, вдали виднелась подбеленная кардиограмма гор. Недалеко от меня с когтистой сосновой лапы мягко ухнул припадочно искрящийся снег, в дупло занырнул голубоватый хвост белки. Мороз, однако. Без унт — или как их там? — в тундре, однако, неуютно. Я завернула еще, и на меня обрушилась весна. Оглушительно щебетали птицы, прямо мне в бай хуэй капала вода с крыши и проникновенно стекала за шиворот. По краям парковых дорожек, выложенных седыми плитами разной геометрической формы, через каждые несколько метров стояли удивленные скамейки. Я подошла к ближайшей и вкрадчиво села. Событийно все это должно, конечно же, напоминать мне сновидение, но по ощущениям, по их ясности и глубине, по степени моего присутствия каждую секунду и осознанности — это никак не могло быть сном. По крайней мере, моим сном. Обычно мне снятся приглушенные сероватые сны, где я не я или не совсем и не всегда я, в них я не пугаюсь страшного и никогда не смеюсь, двигаться в моих плотных тягучих снах бывает тяжело, как в воде, а вынырываю я из них сомнительно отдохнувшей. Особенно последние десять лет. Возможно, это просто началась старость...

Пока я размышляла о природе происходящего, в глубине дорожки показалась человеческая фигура. Сначала я не поняла — приближается она или удаляется, потому что она как-то немотивированно меняла свой размер, а может, так просто казалось. Но потом она, уже точно увеличиваясь, приближалась. Я уже видела, что это длинноволосый старик, видела его длинную белую бороду, темная морщинистая рука сжимала посох, он был облачен в длинные светлые одежды. Когда он подошел достаточно близко, я поняла, что он невероятно высокого роста, метра три. Я поднялась ему навстречу.

— Здравствуй, Лиза, — произнес он, присаживаясь на скамейку и жестом приглашая меня сделать то же самое.

— Здравствуйте, — ответила я. Вокруг старика ощущалось сильное тепловое поле, как будто он был огнем в камине. Меня зовут не Лиза, но мне не хотелось ему возражать. Тем более что с этим именем у меня было кое-что связано. В детстве оно мне не то чтобы нравилось, а я смотрела на себя в зеркало и чувствовала, что оно подходит мне больше, чем что бы то ни было. Я даже обещала родителям, что когда буду получать паспорт, непременно возьму его взамен придуманного ими. Конечно, я ничего такого не сделала. Но однажды был странный случай. Странный по тому впечатлению, которое на меня произвел. Я шла под дождем на урок бальных танцев, было мне лет тринадцать, наверное. И вот, выходя из подземного перехода, я вдруг услышала, что кто-то зовет: «Лиза! Лиза!» Я подняла глаза и увидела старенького дедушку, протягивающего ко мне руки: «Лиза!» — повторил он жалобно. Я растерялась и поспешила пройти мимо, а он все просил меня быть ею вслед так, что я долгое время еще чувствовала себя виноватой в том, что не была той, кого звали «Лиза».

Поэтому сейчас возражать мне не захотелось. Тем более что и тогда, и сейчас где-то в глубине души, втайне от себя, жила у меня уверенность, что это не ошибка, что обозначились совсем другие люди, много других людей, а эти — узнали.

Некоторое время старик сидел молча, распространяя вокруг себя молчание и тепло. Сначала я просто слушала его молчание и грелась, потом постепенно его молчание передалось мне, я перестала думать, и мы какое-то время (вне времени) сидели в абсолютной тишине. Птицы молчали, как рыбы, эволюция шла вспять. Мне даже показалось, что у меня остановилось дыхание, но старик заговорил.

— Ты очень давно не приходила. — В его голосе не было осуждения. Но он сожалел — обо мне.

— Прости, — сказала я, совершенно естественно перейдя с ним на «ты». После нашего молчания расстояние между нами сделалось исчезающе маленьким, сократилось до нуля. Практически я просила прощения у себя.

— Теперь ты можешь приходить сюда часто, — он посмотрел на меня глубоко.

— Я буду, — пообещала я искренне.

— Ты можешь не уходить отсюда, — сказал он тихо.

Я молча кивнула. Я знала об этом. Чувство возвращения домой становилось все отчетливей.

— Я умерла? — спросила я без тревоги. Я вдруг ясно представила, что в ванной валяется на полу бледная рухлядь моего тела, темнота проникла внутрь него, а лампочка, возможно, горит. И будет гореть еще очень долго.

— Ты не умерла, — улыбнулся старик. — Но теперь ты знаешь, что у тебя есть куда умереть.

— Кто ты? — спросила я зачем-то, запашливо добавив: — Что это за место? Почему я сюда попала? И почему я сюда попала только сейчас?

— Неужели тебе здесь плохо? — не ответил старик.

— Хорошо... Это ведь и подозрительно. Понимаешь, я давным-давно, когда была ребенком, засыпая, представляла, что у меня есть в стене тайная дверь, ведущая в другой мир, в котором есть маленький домик, окруженный с четырех сторон света четырьмя временами года. Потом я забыла об этом, но сейчас вспомнила. Тут все, как я когда-то мечтала.

— Все? — он как будто хотел мне что-то подсказать.

Я задумалась. В общем, это невысказанное счастье — жить в мире, созданном тобой же. Или что-то тут недооволощено из моих мечт? Или чего-то я недомечтала?

— Я здесь поэтому? Потому что узнай я о каком-то тайном изъяне моего мира после смерти, я не смогу его исправить?

Старик кивнул. Я вдруг заметила, что за время нашего разговора он сделался меньше. То есть он был по-прежнему высоким, но все-таки не таким великанским, как сначала. Осталось в нем, наверное, около двух метров.

— Но я не знаю, что это за упущение. Надо подумать, побыть здесь подольше.

— Тебе лучше побыть тут одной, — сказал старик хитровато. Он поднялся. Длинные одежды волочились по земле. Двух метров в нем, конечно, не было. Хорошо, если он был чуть выше меня. Я смотрела, как он удаляется, волшебным образом не путаясь в белых складках. Что-то изменилось в его походке, я не сразу поняла, но она стала какой-то более подвижной, что ли? Она стала — женской?! В этот момент старик обернулся и посмотрел на меня новым лицом. Старым знакомым, все еще женским, лицом. Тем самым, которое каждый день смотрело на меня из зеркала.

«Да, — подумала я, со всей безысходностью понимая, что оставила сигареты дома в сумке, — это в самом деле серьезно. Одиночество, конечно, для меня дело привычное, но обречь себя на него на всю жизнь после смерти — надо десять раз подумать». Мне захотелось вдруг подумать с другой стороны зеркала. Без особых приключений вернувшись в темную ванную, я пошла в спальню (на электронных часах было зеленое без трех минут двенадцать, идиоты электричество не отключали, надо бы в ванной лампочку поменять), сомнамбулически разделась и легла. В шесть часов пропищал будильник.

Стоя в подрагивающем поезде метро, я чувствовала, что изменилась. Ночное перемещение оказалось тем главным пазлом, благодаря которому мое представление

о жизни и смерти начало складываться во что-то осмысленное. Мне стало страшно остаться навечно наедине с собой, погрузиться в себя, сослать себя без права переписки. Это как сойти с ума. Сумасшествие всегда пугало меня сильнее всякого физического уродства и урона. Но что делать с моим врожденным одиночеством, с моей неспособностью нуждаться в людях, любить людей так же, как времена года, оранжевый цвет и мандариновое варенье — я не знала. Я никогда не умела пустить в себя другого человека, зная, что окажусь совершенно беззащитной на своей территории. Пустить в себя, разобрать баррикады, расслабиться: «А, пусть делают, что хотят», наблюдать, свидетельствовать?.. Странно, кажется, теперь я могла себе это позволить.

Дикторский голос патетически объявил мою следующую остановку. Кто-то из вошедших уверенно пихнул меня в бок, но я удержалась на ногах, более того, я ближе продвинулась к двери. Несколько человек поменялись между собой местами, я стала совсем удобно, посмотрела на несущуюся ночь подземелья в окне, помаргивающие отражения пассажиров и увидела старика из зеркала. Он сидел в своих длинных одеждах, держа посох между колен, и смотрел на меня в упор. Поймав мой взгляд, он улыбнулся. Я резко обернулась. Старик спал, приоткрыв рот, покачиваясь в такт движению поезда. На нем была черная кожаная куртка, кашне, волосы и борода были достаточно короткими, но все-таки это был он. Я снова посмотрела в стекло окна, но в это время поезд выехал из тоннеля на воздух. Когда мы вернулись в тоннель, старик в стекле уже не отражался. Но что-то еще было не так. В стекле не отражалась я. Я дотронулась до его поверхности, и она знакомо поддалась.

ЗРЕНИЕ

Зрение стало уходить от нее кусками спектра, по дороге ослабляя четкость пока не тронувшихся красок. Кинескоп ее телевизора садился, вечер начинался теперь с утра.

Иногда цвета возвращались к ней, но без форм, а просто раскрашивая собой воздух, зависая в нем косыми лучами неотступно заходящего солнца.

Она выходила на улицу и, как обычно, шла через парк, с опасливым вниманием глядя себе под ноги. Путь, который раньше занимал у нее три минуты, преодолевался теперь за полчаса. Она напрягала глаза, но не умела понять, идет по газону или по дорожке. Она вроде бы видела дорожку и вроде бы сходила с нее... Однажды ей сделал замечание праздный охранник, скрывающий под суровостью мундира свой выходящий за рамки должностных обязанностей интерес к женщинам. Давно готовая к этому позорному окрику, панически ожидавшая его все это меркнувшее время, она ускорила шаг, оступилась и упала, попытавшись спастись кустом шиповника.

Сначала пришлось оставить работу. Несколько месяцев она в сопровождении матери ходила по врачам. Врачи давали надежду, капали белладонну, от которой мир радужно расплывался, словно лужица машинного масла на солнце, смотрели глазное дно, брали кровь на анализ, прописывали разноцветные таблетки и назначали инъекции. Проходили дни. Врачи холодно пожимали плечами и посылали к другим врачам, которые задавали Марине много вопросов, назначали ей инъекции и прописывали бледнеющие и теряющие очертания таблетки. Проходили недели. Врачи холодно пожимали плечами.

Марина целыми днями сидела в полутемной комнате, иногда вставала и стояла. Потом снова садилась... Подглядывавшая за ней мать зажимала ладонью рот и так доносила жалобы и плач до телефона, по которому срывающимся шепотом говорила с подругами.

Зрение уходило.

А может быть, переходило в сны, становясь более внутренним, усиливая внутреннее. Снов было много, они спотыкались друг о друга всю ночь, торопясь распахнуться перед ней именно сегодня. А завтра начинали сниться с того самого момента, на котором прервались пробуждением. С каждым разом пробуждение все менее резко вмешивалось в их ход. Оно наступало, но сон продолжал сниться, затмевая собой все более робкую явь.

Отчаявшись получить действенную помощь от врачей, мать повела ее к знахарке. Та поводила руками, покачала головой и ушаркала на кухню погреметь посудой, включить и выключить водопроводный кран. Знахарка вернулась, неся в руках пластиковую приталенную бутылку. Бутылку равнодушно и страшно зевнула Марине прямо в лицо плезиозавром вымершей этикетки, булькнула и влажно нырнула к ней в ладони.

— Встань, дочка, на рассвете, повернись лицом на восток, помолись Господу и попроси, чтобы забрал у тебя твою хворь. Спаси тебя Господи, дочка, — знахарка перекрестила Марину.

— Вы думаете, поможет? — обреченно спросила Марина. Ее голос почему-то обзвучился от этой комнаты плоской хрипотцой и показался самой Марине совершенно чужим. Он отразился от серванта с прозрачными створками, протиснулся между мутной шторой и подоконником и выпал в форточку. Несколько секунд спустя внизу сыто и сочно каркнула ворона.

— А вода? — сообразила уточнить мать. Она мелко помаргивала, стараясь не замечать откровенно не впечатляющего вида знахарки, а сосредоточиться на предваривших их визит восторженных рекомендациях одной хорошей (а ее — шапочной) знакомой ее знакомого, которую она случайно (а случайностей не бывает) встретила на рынке. Знакомая поведала ей несколько исторических фактов из жизни сына своей соседки, которого знахарка за несколько сеансов (или как там это у них называется?) исцелила от болезни, которую соседка соседки, округлив глаза, шепнула бедной матери рядом с ухом. Будучи не сильна в медицинских терминах, мать Марины изрядно впечатлилась сакральным звучанием недослышанного латинизма и, не мешкая, записала адрес и телефон чудо-старухи.

— А воду — пить можно...Брызгать можно, умываться ею. Глаза умывать, да, глаза — утром и на ночь. Пусть прямо наберет в ладошку и поморгает, — знахарка пожевала тонкими губами, излучавшими вертикальные морщинки. — Если верует — то поможет, — повторила она убежденно.

Когда зрение ушло от Марины совсем, она почувствовала, как над ней опустилась крышка гроба, и странно было находиться в нем живой. Ужас и паника, уставая, перемежались периодами апатии, но восстанавливали силы и снова принимались за нее. В ней накопилось много боли. Марина — роптала. Упреки вращались вокруг своей оси, притянутые огромным непониманием, создавая вокруг ее головы кольцо Сатурна. Кольцо сжимало голову, словно кому-то было необходимо, основательно закрепив Марину в тисках, поработать над ней — подкоротить, обтесать, распилить. Сделать подходящей.

Когда работа была завершена и спутники разлетелись, отпущенные волей Мастера, Марина погрузилась в молчание. Она сидела в темноте и распространяла тишину, как расширяется вселенная. Росла и становилась никем. Достигнув в этом предела, она остановилась, наткнувшись на свои края и на какое-то время потеряв дыхание.

В тишине и темноте к ней пришел голос. Вдохнув, как первый раз, она открыла в себе возможность новой жизни. Темной, но звучащей, обостряющей слух. В безопас-

ности утробного уюта она доверилась голосу без борьбы. Может быть, он ей снился, но сейчас она уже не отличала яви от сна, и, в общем-то, это было безразлично. Она сидела, выпрямив спину, допуская, что сходит с ума, и слушала голос, улыбалась, слушала голос и, до смерти пугая мать, отвечала ему.

— Ты любишь ездить в общественном транспорте? — спрашивал голос.

— Терпеть не могу! — отвечала Марина. — Но сейчас мне, в общем-то, особенно и не надо никуда ездить...

— Мне сейчас уже тоже, — смеялся голос. — Но однажды, когда я ехал в маршрутном такси, я видел кое-кого, кто еще сильнее, чем мы с тобой, не любил это дело.

— Не может быть, — улыбалась Марина. — И кто же это?

— Кот.

— Кот? Кот Бегемот?

— Кажется, его звали Мавром. Правда, очень удачное имя для черного кота? То есть для кота, а тем более — черного.

— Да, звукоподражательное, — улыбалась Марина.

— Ну вот, этот Мавр, которого посадили в клетку, как птицу или тигра, так надрывался, что глупая хозяйка не находила ничего более утешительного для них обоих, чем приговаривать ему торопливое «кис-кис-кис». Несчастное животное не могло выйти на этот зов ни из клетки, ни тем более вырваться из маршрутки, увозящей клетку в неведомые дали, и терзалось все громче.

— Ты считаешь, что я похожа на этого кота?

— Да, а я на глупую хозяйку...

— Нет, на глупую не похож совсем.

— Хорошо, — улыбался голос. — Но я думаю, что, в общем-то, мы все иногда похожи на этого кота. Когда боимся неизвестности. Когда нам кажется, что нас посадили в клетку и везут куда-то, а мы не только не можем вырваться, но и слышим, как кто-то или что-то зовет нас, а ведь тогда сидеть спокойно и ждать конца путешествия делается совсем невыносимо.

— Да, — соглашалась Марина. — Но самое смешное, что везут-то кота всего лишь, чтобы подлечить левое ухо, которое он сам себе разодрал.

— Какого кота? — напряженно спросила мать. Она уже с минуту стояла в дверном проеме и теребила половую тряпку, скрученную в бараний рог. Поседевшие волосы были растрепаны, глаза неестественно блестели.

Марина перестала улыбаться. Ее лицо как будто выключили, как лампочку.

— С кем это ты разговариваешь? — продолжала мать. Она вошла в комнату, села на диван рядом с дочерью и уложила тряпку себе на колени. — Мариночка, Маруся, ты же знаешь, меня очень пугает, когда ты так... — мать подавила восьмибалльный всхлип.

— Она очень любит тебя, — сказал голос.

— Да, я знаю, — ответила Марина.

— Давай поговорим, я ведь всегда рядом, всегда с тобой, Мариночка, — мать убрала влажной холодной рукой прядь волос со лба Марины. — Поговори со мной.

— Ну что — Мавр сделал свое дело? — уточнил голос испытующе.

— Да, — улыбнулась снова Марина.

— Вот и хорошо, — обрадовалась мать. — Мне, кстати, сегодня утром тетя Женя звонила. Представляешь, Сережка в субботу женится. На светленькой такой девочке, помнишь, мы их как-то с тобой видели, еще в октябре? Она беременная, на шестом месяце. Говорят, будет дочка.

— Я сочинил для тебя песенку! Про тебя! — радостно сообщил голос.

— Здорово! — восхитилась Марина.

— Щас спую, — сказал голос голосом наевшегося мультфильмовского волка (или пса?).

— Да, я тоже так рада за них, — подтвердила мать, действительно не помнящая себя от радости, потому что она уже давно не разговаривала с дочерью так долго и успешно. — Так рада...

— Спой, — поощрила Марина. — Мне еще никто не посвящал песен.

Мать, открывшая было рот, закрыла его резко и как-то некоординированно, как кукла из «Улицы Сезам».

— Господи, Господи, — горько прошептала она, поднялась и, прижав к груди задремавшую тряпку, ушла плакать.

Голос помолчал, а потом тихо запел.

Постепенно, чтобы пощадить мать, Марина научилась отвечать ему мысленно. Они говорили непрерывно, срастаясь все плотнее в бесплотности речевого акта, их диалог монологизировался, и становилось все сложнее отделить друг от друга их мысли. Голос приподнимал Марину и летел с ней над самым небом ее памяти. Ощущение полета отсылало ее в детское счастье качания на качелях.

...Мама накрутила ей волосы на шелковые ленточки — на них было нежестко спать, и когда их снимали, локоны получались такие упругие, что делали длинные волосы короткими. Но скоро расходились и становились совсем чудесны. Марина всю ночь спала на ленточках, чтобы майским утром идти с отцом на праздник. Ей пообещали флажки и воздушные шары, нарядили и выпустили из дому — ждать. И вот она вышла во двор, оглушительно пахнущий весной. Все вокруг просто разрывалось от солнца и щебетания птиц, сердце у Марины заколотилось набирающим скорость поездом. Она стала на дремучие качели красными лаковыми туфельками и принялась раскачиваться так высоко, что едва не касалась расцветающих веток большой вишни. Секунды невесомости в крайних точках полета были особенным занывающим восторгом. Распушенные волосы металась по ее лицу, она шурилась от них, от ветра и света, от смеха и от удовольствия. И оттого, что ей не нужно было ни на что смотреть, ничего видеть. Марина была слепа и счастлива...

Марина была слепа и счастлива. Если бы она знала, что потеря зрения станет для нее источником любви и радости, она бы сама ослепила себя. Когда ее счастье стало невыносимым, когда она переполнилась им, то просто вышла за свои пределы. Из тесноты и мрака. «Кис-кис-кис», — подумали они оба и засмеялись.

Она шагнула в свет, хлынувший со всех сторон, и зависла в воздухе невесомостью крайних точек полета на детских качелях. На руках и на платье, образовывавших ее «стеклянный» контур, светящийся и прозрачный, расплзлись, исчезая, чернильные осьминоги смерти. Пронзенная светом, Марина почувствовала, что, погружаясь в него, расправляется, как сине-зеленые водоросли, которые она любила доставать из реки, превращая в бесформенный плотный комок, и снова окунать в воду, любуясь оживающей шевелюрой. Она дышала (дышала? дышала без вдоха и выдоха?) всей собой и, кажется, видела не глазами, а лицом. Нет, головой... Всем телом. Зрение стало ее сутью, она превратилась в зрячесть. На диване в полуразвалившейся позе сидело ее мертвое тело, похожее на небрежно снятые в темноте усталые колготки. Слепота осталась — в нем, оказавшись непроницаемой шторой зеленоватых открытых глаз, остановившихся много раньше сердца. Маленький черный зрачок был воронкой, черной дырой, втянувшей весь видимый мир в себя и не пропускающей света. Марина всматривалась в старое удивленное лицо — такое чужое, едва заметно намекающее на их знакомство и совсем уже незаметно на родство. Рядом с оставленным телом,

одновременно с оставленным телом Марина увидела свой «голос», такой же светящийся, дышащий светом, как она. Она обняла его, и это было очень тепло и глубоко. Все предметы в комнате мерцали и прозрачнели, медленно прогорали, помогая проступить сквозь себя другому — особенному — свету. Тому. Свет нарастал и наконец вспыхнул так ярко, что все прежнее исчезло.

Марина вышла и — ушла. Как солнечный зайчик уходит вместе с солнцем.

* * *

Мать, убитая горем (потому что полагающая свою Марину мертвой, вот этой мертвой Мариной), похоронила исхудавшее тридцатипятилетнее тело одиннадцатого апреля в два часа пополудни.

Удивительно, что в этот же день и час из их подъезда вынесли и поставили неподалеку с Мариной другой гроб. Гроб не открывали, и рядом с ним никто не плакал. Мария Тимофеевна пояснила потом Татьяне Ивановне, что умер юродивый — как бишь его? — Феликс, тихо доживавший свои дни в соседней квартире. А гроб не открывали, потому что он умер-то уже не пойми когда, ведь одинок был, и никто к нему толком не захаживал. Тихий был, глухонемой.

СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ

Искрящееся море всасывало себя сквозь голливудский оскал прибрежной гальки и снова с размаху наскакивало мне на ноги озабоченным пуделем тети Зины, давно ослепшим от старости, но не утратившим интереса к прохожим конечностям. Я шлепал, подкатив джинсы, периодически и поочередно бултыхая из забывчивой руки бесполезные сланцы, легко поднимал их, истекающих морем, оглядывался на закат, понимая заново что-то очень веселое, превращающееся от произнесения в патетическое, улыбался сам себе и шлепал дальше. Коктебель, который я полюбил еще ребенком, был, что называется, «уже не тот»: набережная, на которой стоит дом Волошина, утыкана кабаками, усыпана мусором, извергаемым отдыхающими с невероятной плодовитостью, оглушена дрянной музыкой. Но здесь — когда забредаешь подальше оттуда — все еще по-прежнему.

По колено в воде я завернул за утомительно входящую в море скалу и моментально увидел дом — такой особенный, начисто лишенный несущих стен. Жилые дома, вообще-то, почти никогда так не строят, но этот был жилой, и фактические стены его были из стекла. Вокруг дома ярко росли осенние цветы, а над ними висели, подрагивая, словно марионетки, засыпающие бабочки. Засыпающие здесь, а где-то там просыпающиеся китайским философом Чжуан-цзы, не могущим спросонья спланировать, кто он: человек, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которая во сне видит себя человеком. Одна из прозрачных стен этого строения, выходящая на обращенную к морю террасу, была гостеприимно приподнята. Поскольку даже символически постучать было некуда, я, робко потоптавшись холодно высыхающими на ветерке и наконец приготившимися сланцами, зашел вовнутрь. Вошел, как к себе домой.

Комната была огромным сложносочиненным гибридом кухни, гостиной и библиотеки. Мое внимание сразу же привлекли высокие, в потолок, книжные стеллажи, и я бы наверняка, охамев окончательно от простоты, с которой сюда проник, загляделся на них подробнее, но невнятно ощутил движение в просвечивающем в другую комнату проеме.

Приблизившись к проему, я остановился в некотором замешательстве — не столько не решаясь прервать происходящее там, сколько от глуповатого изумления. Картина была в самом деле комична: человек примерно моих лет увлеченно полемизировал о чем-то с нелепо состряпанным из электрического чайника в вязаной шапке и разного другого многопонятого хлама и тряпья подобием собеседника. «Собеседник» был предельно учтив и лишь изредка позволял себе слегка усомниться в разворачиваемых перед ним многоярусных предложениях едва заметным наклоном чайника влево, так что со временем, вероятно, он бы таки потерял голову.

Они оба сидели в исполинских креслах друг против друга, и человек, поглядывая в ноутбук, покоящийся на круглом столике, разделяющем кресла, интенсивно пояснял: — ...в общем-то, атеист — это крайнее выражение космического юмора. И вместе с тем атеист — это божественный триумф. Игра с самим собой в прятки. Он так хорошо спрятался, что не нашел сам себя, превзошел сам себя! Вот! — человек подъял указующий перст, повернул голову и бородато посмотрел прямо мне в глаза. Я смекнул, что трагически опоздал с тем, чтобы ретироваться незамеченным, и пришибленно кивнул головой, тшась произнести что-нибудь разъяснительно-оправдательное в свою честь. Но успел только предварительно помычать и поразводить руками. Человек, похоже, нисколько не удивился, увидев меня в своем доме. Наверное, к нему часто заходили случайные путники, хотя домик, в общем-то, стоит основательно на отшибе.

— Вот! — повторил человек, поднимаясь из кресла и глядя на меня многозначно. — Вот вы и пришли. А! — аффективно вскрикнул он, порхнув ладонью в сторону своего недавнего приятеля. — Не берите в голову — одиночество, знаете ли, уединенность, так сказать... То в шахматы сам с собой, то вот, простите, рассказ... Как это? «Слушателей нужно духу поэта, будь то даже бараны», — он залихватно захихикал, идя мне навстречу и протягивая руку:

— Александр, — представился он с весомостью.

— Александр, — ответил я, стараясь интонационно скомпенсировать возникшую тавтологию и параллельно удивляясь его радушию. Может, он принял меня за другого. Ждал кого-то визуально, может быть, незнакомого, а тут я...

— Я тут гулял по берегу и забрел в ваши края... у вас открыто было... и я так бесцеремонно... извините...

— Да что вы, Александр, в самом деле! Проходите. Я сейчас. — Он засуетился, схватил чайник в шапке и резким брезгливым движением скинул обезглавленное тело с кресла на причудливый паркет. — Присаживайтесь, Саша (можно так вас называть?), я самовар вот поставлю нам и приду... Чувствуйте себя, — он сдавленно гоготнул и снова сделал серьезное учтливое лицо, — как дома.

Странный Александр вышел, наедине с собой я пожал плечами, выполнил еще несколько мимических движений, высвобождающих мои чувства, и осмотрелся. Комната была большая и многоугольная. Кроме того проема, в который вошел я и в котором же скрылся Александр, я насчитал еще четыре выхода. Три из них светились сильнее, по-видимому, выходя в застекленные комнаты. На стенах висели в рифму проемам светящиеся картины, казавшиеся окнами в другой мир. На одной колыхалось море. Я подошел к ней вплотную и различил летящую на фоне распаленного солнца чайку. Солнце все еще не зашло. «Так», — подумал я и заинтригованно направился к другим «картинам». Проходя мимо ноутбука, я с чувством запретного взглянул было в текст, но экран в ту же секунду невинно сморгнул, и на голубом глазу поплыли рифовые рыбки.

На кухне что-то звякнуло и покатилося. Я поспешно приблизился к светящемуся изображению пустыни и с пристрастием принялся его изучать. Ветер где-то вдалеке

самозабвенно валял по барханам скучные нолики верблужьей колючки. На широкополой раме лежали аккуратные горстки песка. Тарахтя чайными принадлежностями, хозяин выкатил густо уставленный двухэтажный квадратный столик.

— Я так рад гостям, — сказал он, слегка задыхаясь, как будто после пробежки, и рачительно составляя чашки и вазочки с квадратного на круглый.

— У вас удивительные штуки тут висят. Это что-то электронное?

— А, это... Да, чудеса техники.

Я мигом охладел к ним и поместился в кресло.

— Вы только не подумайте, что я сумасшедший, там, какой-то... то есть сумасшедший, конечно, но ведь любой от одиночества свихнулся бы. Даже он...

— Он? — переспросил я, придвигая к себе чашечку, на которой была набезобразная какая-то стилизованная китайская камасутра.

— Он, — подтвердил он.

Я глубокомысленно хлебнул сложного травяного чаю, отчетливее всего в букете которого проступала все-таки мята... да, мята и липа... и... и выбрал в синей вазочке золотистое печенье, усыпанное мозаикой из поджаристых орехов.

— Я почитаю вам кое-что, — признался он, недоверчиво на меня поглядывая и помешивая в чашке отсутствующий сахар. — Вы не против?

Я энергично, даже с каким-то избыточным энтузиазмом кивнул и поперхнулся печеньем. Наверное, этим подсказывая в зрительный зал, что я не люблю слушать графоманов.

— Нет-нет — после, вы ешьте спокойно... пейте чай, — произнес он, грустно наблюдая за тем, как я откашливаюсь. — Чай с мятой и липой и ... — он поскреб ногтем обнаженное бедро узкоглазой красавицы на чайнике, устраняя несуществующее пятнышко, — и печенья очень вкусные.

Мы немного помолчали. Я запихал в рот большую конфету, оказавшуюся курагой в шоколаде, привычно сложил фантик в маленькую книжную закладку и еще раз придирчиво оглядел чашку.

— Красивый сервиз, — одобрил я, имея в виду пошлую красавицу. — Китайский?

— Японский.

Мы снова помолчали. На лице Александра читалась некоторая досада. Он сидел, опустив глаза, и явно ждал, когда же я перестану есть.

— И часто к вам забредают случайные путники? — спросил я туповато, дожевывая очередное печенье, действительно очень вкусное.

— Случается, — улыбнулся Александр, кого-то сильно мне напомнив. Я даже перестал мысленно примеряться к новому печенью, так меня это озадачило. — Только они не такие уж и случайные. — Он посмотрел на меня внимательно, и мне сделалось неловко. Я залпом допил подостывший чай.

— Ну что, — сказал я бодро, как Дедушка Мороз на утреннике второго января, — почитаем?

— Да, да, конечно, — он снова засуетился, отодвигая чашку, придвигая ноутбук. — Может быть, еще чаю? — уточнил он неискренне. Я отрицательно мотнул головой и со смирением наклонил голову, готовый к слушанию, как тибетский покойник. На самом деле было даже что-то симпатичное в том, как ему не терпелось, этакая детская непосредственность.

Александр разбудил монитор и углубился в молчаливое чтение. Все-таки он кого-то очень сильно напоминал мне... Я вдруг понял — кого: моего дядю, который сошел с ума и вскоре умер. Мне было тогда около восьми лет, и мы мало с ним общались, но я отлично помню эту его манеру закидывать голову, когда читаешь, и много других мелких недоступных описанию черт. Минут, наверное, двадцать Александр изучал,

покусывая губу и пощипывая бороду, то, что собирался озвучить, пока я не привлек его внимания зычным шелком затекших суставов. Тогда он встрепенулся, вспомнил обо мне и, прочистив горло надсадным рыком, начал.

Когда он закончил и молча поднял на меня глаза, в которых еще бежали строчки, я с расстановкой произнес:

— А почему так однобоко? Почему именно писатель, а не, скажем, режиссер-драматург-актер? Или архитектор-черточка-генетик? Смотрите, как продуктивна метафора с демонстрируемым фильмом, светом от кинопроектора, находящимся сзади от зрителя и требующим обернуться, чтобы можно было осознать иллюзорность происходящего. Помните знаменитую притчу о пещере, которую Платон использовал в своем диалоге «Государство»?

Александр приподнял кучерявые брови.

— Ну, если в двух словах, то там Платон уподобляет человеческое существование ситуации, в которой группа людей оказывается в подземной пещере. Они жестоко прикованы к земле и могут видеть только то, что находится прямо перед ними. Позади них пылает огонь и находится низкая стенка, над которой кукольнички показывают марионеток: людей, животных, всякую утварь. Узники погружены в созерцание теней на стене, и они совершенно не осознают истинной природы ситуации. Платон также предполагает, что узники верят в то, что отголоски звуков, идущие сзади, в действительности производятся тенями. В случае с кинопроектором то же самое. Без стовосьмидесятиградусного финта наивный зритель воспринимает дурацкую фильму как реальность, актеров держит за их персонажей, вовлекается в это дело по самые ослиные уши...

— Да, с фильмой хорошо, но все-таки — писатель, потому что все, что у него, — это он, потому что творит — из себя. Он нуждается в нас ничуть не меньше, чем мы в нем. Кто больше кому был нужен — автор произведению или произведение автору? Мир построен на взаимности. В общем-то, он совершенно гениален.

— Мир?

— И мир тоже. Только вопрос в том, насколько он был свободен, создавая мир. Был ли у него выбор? Это не я, это еще Эйнштейн спрашивал.

— А не противный он какой-то выходит? Так вот, пусть не ради развлечения, пусть от безысходности крошечной, но устроивший всю эту мясорубку? Смерть, болезни, войны. Не жалко ему людей-то?

— Но это все он сам. И да — не ради развлечения, а от тоски и, главное, одиночества, чтобы было кому прочесть то, что написал. И ведь не проверишь же на прочность написанное, оставаясь самим собой. Приходится соблюдать правила игры, забывать себя и заново изумляться своему творению как чужому. А в апофеозе этой игры — не верить в свое существование. И это ее триумф. Его триумф. Ведь вы же не поверите так запросто, что мы с вами один человек? А напрасно. Вот вы думаете, что это я здесь живу, что это я читал вам только что свой рассказ. А ни фиги! Читал я его сам себе или, если хотите, вы — сами себе.

— Ну, это старая история — про то, что все мы — одно, и на самом деле ничего не существует...

— Еще как существует, только, вы совершенно верно заметили, границы внутри этого всего значительно условней, чем мы привыкли думать.

— И созданы только для того, чтобы самому себе сказать «Ай да Пушкин...», делая вид, что это кто-то другой?

— Становясь — другим. И не всегда таким уж детски восторженным. Вот вы же, несмотря на то, что вы — я, не ошалели от экстаза, выслушав мой рассказец.

— Ну, почему же — не ошалел? Очень даже ошалел, — сказал я, натянуто улыбаясь, чувствуя, что мне уже изрядно надоело общество моего тезки, так назойливо претендующего на еще большую общность между нами. — Мне, пожалуй, пора постепенно двигаться восвояси.

— Смешно это, право... всякий раз я отказываюсь верить в то, что я — это я. — Он тихо засмеялся, глядя в сторону. Потом яростно заорал, дико тараша на меня глазами: — Куда ты пойдешь? Некуда тут больше идти. Никого тут, кроме меня, нет. Кроме тебя, нет.

— Всего доброго, — сказал я, решительно поднимаясь.

— Вот что это за триумф, спрашивается? Смех один. Да нет здесь больше никого! — Он постучал себе третьим пальцем в лоб. — Ты сейчас разговариваешь сам с собой. И это уже не игра, а махровая клиника. Просыпайся. Очнись, ну? Давай, давай!

Он подошел ко мне вплотную и принялся наотмашь хлестать меня по щекам. Было очень больно, из носа хлынула кровь, но я не сопротивлялся, а, напротив, впал в какое-то бесстрастное оцепенение, закрыл глаза и ждал. Наконец удары прекратились. Для верности я посидел с закрытыми глазами еще несколько секунд, потом выдохнул и с усилием разлепил веки. Лицо горело. В бороде запекалась липкая кровь. Я с отвращением вытер ее с губ детскими фиолетовыми колготками, вывалившимися из тулупьего тела «собеседника». Во рту чудовищно пересохло. «Надо поставить чайник», — подумал я вяло, взял электрическую голову, захлопнул крышку отключившегося ноутбука и вышел в проем.